

П. БАЖОВ

P33762

ЖИЗНЬ
О

НЕМЦАХ



Издательство «Правда»
1945



С давних лет на Урале действовало правило, которое на языке петровских указов говорило:

«А деловых людей и разного кунста мастеров надлежит обнадёживать, принимать с респектом и привилегией, то памятуя, что от таковых великое прибавление и польза заводскому делу протекать могут».

Конечно, не все владельцы заводов одинаково применяли это правило.

Дворянская знать, получившая в своё владение часть уральских заводов, усердствовала по-своему. Из смену своим крепостным приставникам она посылала танцмейстеров, куаферов, кондитеров, камердинеров, «дабы подобающе и знатную персону на заводах принимать было возможно, буде таковой казус случится».

Первые Демидовы и другие владельцы купеческо-деловой складки шли на это довольно туго. Прежде чем пригласить «заграничного человека», долго приферивали да привешивали, какой от того прок будет. С годами, когда представители этих родов сами перешли на положение знати, эта деловая требовательность по отношению к иностранцам исчезла, да и ловкие люди наши свою дорожку к сердцу и особенно карману разбогатевших купцов и промышленников.

В архивных делах сохранился любопытный документ о продаже «русской потомственной дворянке» графине Рошефор Уинского и Шермантского заводов, принадлежавших наследникам Яковлева (б. Собакина).

В этом документе, как в зеркале, отразилось обрастание купеческого рода представителями русских и иностранных знатных фамилий. Наряду с Абдулиными в числе наследников-продавцов упоминаются княгиня Орлова-Денисова, граф Олсуфьев, граф Чернышев, какой-то Манзей, де-Трувьнер и др.

Немцев оказалось четверо. Один Линденбаум и три генеральши Карловны. Две с немецкими фамилиями и одна с совершенно необычной — фон-Баранова. Забавным кажется, когда действовавший по её доверенности сын подписывался Николай Карпов сын фон-Баранов.

Как видно, среди яковлевской родни оказался достойный носитель фамилии Барановых, которого ловкая Амалия соблазнила украсить эту фамилию прибавкой немецкого фюа, чтобы публично можно было называть Карп из баранов.

Этот путь к жирной кормёжке около уральской промышленности отмечал, как типичное явление, и Д. Н. Мамин-Сибиряк. В «Приваловских миллионах» он, например, рассказывает о брачной карьере «сестриц Шпигель».

Как только одна из них — Гертруда оказалась женой дряхлой, но очень высокопоставленной особы, так сейчас же две других «сестрицы» были выдабы замуж за чиновную мелкоту, которая сразу получила назначение директорами банка в Узел (под этим названием в романе идёт основной центр уральской промышленности).

Приехавши в Узел, две «сестрицы» выписали остальных четырёх, из которых одна вышла за директора гимназии, другая — за доктора, третья — за механика, четвертая, не пожелавшая, за преклонными годами связать себя узами Гименея, получила место бакальницы Узловской женской гимназии.

Устроился и «братец Оскар», который «благодаря сестре Гертруде получает ни за что тысяч пять».

При такой пронырливости, которой особенно отличались немцы, естественно, что их можно было встретить на Урале в самых неожиданных местах. Тот же Д. Н. Мамин-Сибиряк, рассказывая в «Бойцах» о сплаве караванов железа по Чусовой, отмечает:

«Какой-то безымянный немец, весь красный до ворота охотничьей куртки, с взъерошенными волосами и козлиной бородкой, смахивал на берейтора или фехтовального учителя и, кажется, ничего общего с заводской техникой не имел. Немец хлопал рюмку за рюмкой, но не пьянел, а только качинал горячиться, причём ломачье русские фразы так и сыпались из-под его лихо закрученных рыжих усов.

— Пастаки! — постоянно говорил немец, когда у него убивали карту. — Сукина сына туда твой дорог! Швинья-карт!

Разумеется, не все немцы ходили на прыщей, вроде описанного Мамин-Сибиряком. Уральские заводы видели и «знатных путешественников»-обозревателей и «добросовестных неучёных советников». Немало было и специалистов разных отраслей произ-

водства, но, как видно, преобладали те немецкие Вральманы, которые сумели переменить свою плохо оплачиваемую профессию на другую, совершенно им неизвестную, ко дающую жирный кусок. Временами таким Вральманам с помощью «сестрицы Гертруды», «дядюшки Оскара» и разных высокопоставленных дам от фон-Рейтерн до фон-Барановой удавалось устроить большой выгон на каком-нибудь уральском заводе, где они и паслись целым стадом.

Понятно, что такое явление отмечалось в народной памяти. В семейных рабочих преданиях, рассказах об этом немало передаётся. К сожалению, этот источник у нас ещё не изучен. Между тем, даже поверхностное соприкосновение с ним, насколько это в силах отдельного человека, показывает исключительное значение этого источника.

Здесь прежде всего обращает внимание резкая грань, которая проводится между иностранцами, работавшими или только жившими на Урале.

Отмечая деловитость, внешнюю простоту и большое знание производства у англичан, весёлый и порой легкомысленный нрав французов, запальчивость, горячность и внешнюю забавность изряда итальянцев, в этих преданиях по отношению ко всем немцам отчётливо проводится одна оценка: «густохлёбы» и «брюхоглады», которые жирно кормились, но ничего не давали.

Эта твёрдость и однообразие оценки заставляют подумать, не следует ли дополнительно проверить материал и в отношении многих «добросовестных советников» из Германии.

Предлагаемая книжка и пытается обратить внимание историков и фольклористов на этот участок.

ПРОВАЛЬНО МЕСТО

Нашу-то Полевою, сказывают, казна ставила. Никаких ещё заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумёшках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало,— к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли, они, дескать, первые пособники. А не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумёшки-то у них безо внимания оказались. Так немцы и объявили — провальню это место. С другого рудника брали, а он вовсе и работы не стоил. Вовсе зряшный рудничешко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала Турчанинову.

До того он,— этот Турчанинов,— солью промышлял да торговал на Строгановских землях, и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошёл. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали да доваривали. Глядишь, и доводили, да ещё хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.

Как услышал, что у казны медный завод плохо идёт, так и подъехал,— нельзя ли такой завод получить.— Мы, дескать, к медному делу привышны,— у нас пойдёт.

Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименнее, ни один не повязался. У немцев, думают, голку не вышло — на что такой завод? Убыток один. Так Турчанинову наш завод и отдали да ещё Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!

Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих со старого места привёз. Насулил им, конечно, того-другого. Купец — умел с народом обходиться! Кого хочешь обвести мог.

— Постарайтесь, — говорит, — старички, а уж я вам по гроб жизни...

Ну, ласковый язычок, напел! Смолоду на этом деле, — понаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:

— Неуж против их не выдюжите?

Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчёт немцев-то их задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те ещё сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумёнки походили, руду тамошнюю поглядели да и говорят прямо:

— Либо тут меднолобые сидят, у коих понятие на руду слабое, либо хуже того: нарочно подстраивают — медь в отвалы перегоняют. Коли этих немецких пособников сгноишь, наладим дело. В этом будь без опасенья. Из такой-то руды да в здешних печах половина на половину добыть можно. Только, конечно, соли чтоб безотказно было, как по нашим местам.

Они, слышь-ко, хитрость одну знали, — руду с солью варить. На это и надеялись.

Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:

— Больше ваших нам не требуется.

Немцам что делать, коли хозяин отказал? Стали соби-

раться, кто домой, кто на другие заводы. Только им всё-таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы и подговорили человек трёх из пришлых, кои у немцев при заводе работали.

— Поглядите,— говорят,— нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются,— за такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уж мы вам отплатим.

Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он всё нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:

— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краёв набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость с солью другим не знали.

Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к сличью пришлись. Он и давай наговаривать.

— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Всё как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы ещё поглядите каких людей понадёжнее, я их либо выкуплю, либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам...

И опять, значит, насулил выше головы. Не жалко ему! Вином их поит, угощение поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поёт, пляшет. Ну, обошёл стариков.

Те приехали домой и давай расхваливать:

— Места привольные, угодыя всякие, медь богатимая, заработки, по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.

А Турчаниновски служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народоу не то что для медного

заводу, а на все работы хватит. Изоброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.

Мешкать не стали, в то же лето переезжали всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломали. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь — жалко. Так и посадил этих людей Турчанинов. Всё едино, как цепью приковал.

Из старых рабочих на медном заводе только того парню оставили, который про немецкую подлость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил:

— Что это ты! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смыслённый, видать, и родное продавать не согласен.

Потом и спрашивает у парня:

— Ты что при немцах делал?

— Стенбухарем, — отвечает, — был.

— Это, по-нашему, что же будет?

— По-нашему, — отвечает, — около пестов ходил, — руду толчи да сеять.

— Это, — говорит мастер, — дело малое — в стенку бухать. А засыпку немецкую знаешь?

— Нет, — отвечает, — не допускали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять была охота! За карнахарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.

Мастер послушал-послушал и сказал твёрдое слово:

— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратно мне говори, что полезное видел!

Так этого парня — Андриюхой его звали — при печках и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже мастера стал, который его учил-то.

Как потом у этого парня житьё обернулось, особый сказ есть. «Две ящерицы» прозывается. Ну, не о том дело! А с провальными немцами так кончилось.

Как прогнал их Турчанинов, так перемена и вышла! Меди во много раз больше пошло. Загремели наши Гумёшки. По всей земле о них слава пошла. На что Строгановы, и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумёшки на их земле приходится и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать да им — Строгановым отдать.

У Демидова тоже правая рука чесаться стала, как про Гумёшки кто помянет.

— Не иначе, — говорит, — ко мне в руку это место просится.

Демидовским обычаем сперва хотел испугом добыть, — пригрозил Турчанинову.

— С костями, дескать, схрумаю, коли добром не уйдёшь.

Только, известно, какой народ. Который и worse трусливой породы, а от денег его не отгонишь. Как говорится, дрожмя дрожит, а на сундуке лежит.

Демидов видит — с налёту не возьмёшь, стал всякие хитрости подводить, чтоб Гумёшки за себя перевести.

Только Турчанинов с первых годов, как ему такой рудник попал, большую силу забрал. С князьями да сенаторами за ручку, и денег, понятно, на это знакомство не жалел. Ну, и отбил.

Чуешь, какое, значит, богатство оказалось! А немцы поровнили из него провальное место сделать, потому — на кормёжку охочи, а к делу одно раденье, абы видимость показать. Вот они какие пособники. Самое, сказать, провальное место.

Барин Турчанинов хоть много подлости народу сделал, а за то ему спасибо, что немцев с Гумёшек согнал.

— Ступайте-ко,— говорит,— откуда пришли! Без вас обойдёмся.

ЗАГРАНИЧНАЯ БАРЫНЯ

Не знаю — хвалить ли хаять, а сысертские владельцы не больно чужестранных привечали: По другим заводам таких на моих памятях многонько в начальстве ходило, а у нас самая малость. Со старины такой установ был. Барин, который заводы по-настоящему ставил, перьвым делом всех чужих рассчитал, и на их место своих мастеров поставил.

С той поры и повелось, что в начальстве у нас больше свои заводские держались. Всяковатые, понятно, бывали: Который, может, в десять раз чужестранного хуже, да только народу он известный не то что с пелёнок, а по дедам и прадедам. Иному и прозвание по родам давалось: Скажем, Баушкин грех, Темерёвско отродье, Косонога порода и протча:

Сколь ни сторонились бары от чужестранных, они нет-нет и появятся, особливо из немцев. Откуда только пролезут! Да ещё так высоко взмостятся, что жёрдью их не добудешь. Бывала немка и в барской семейности. Так и звали её — заграничная барыня:

Дело, сказывают, таким случаем вышло:

У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сысертский барин это же придумал:

— Чем, дескать, я хуже других заводчиков. Поеду,— людей посмотрю, себя покажу.

— Ну, поездил у тёплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло. Только дорога-то шла через немецкие земли, а немцы, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, больно смекалистые. Из всех наро-

дов на отличку. Видят — барин ума малого, а деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живца ловить? Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее, — из таких всё-таки, коих свои немецки женихи браковали, и вперевод стали ту немку нахваливать.

— Вот невеста, так невеста! По всем землям объезди, такой не сыщешь! Домой привезёшь, у соседей в глазах зарябит.

Барин всю эту немецкую подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору вышел. Молодая жена сразу объявила:

— Неохота мне что-то, мил, любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно.

Барин, понятно, закипятился:

— Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть?

А немка, знай, посмеивается.

— По нашим, — говорит, — обычаям невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это невесело!

Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что, своё твердит:

— Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коли тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги посылал во-время. А не будешь посылать — судом взыщу, потому — законом обязан ты жену содержать, да и подпись твоя на это у меня имеется.

Что делать? Одному домой ехать барин поопасался: на смех, дескать, пошумят,— он и остался в немощной земле. Долгонько там жил, всю заводскую выручку немцам проеживал. Потом, видно, начётного показало али другая-какая причина пришла, привёз-таки свою немку в Сысерть и говорит:

— Сиди тут.

Ну, ей тоскливо, она и вытворяла, что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него там, сказывают, и не разберёшь, что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта строинка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедет будто туда с целой оравой, да и гаргулет недели две. Народу от этой барской гулянки не сладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу маяга. На счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет.

Долго бы, может, эта немка над народом изгальничала, да, спасибо, хозяйка Медной горы хвост этой барыне прижала.

Случай вовсе особенный вышел. Об этом долго сказывают, а в коротком слове — так дело было.

Появилась в одном забое на наших Гумёшках руда со шрифом. И много её пошло. Самый, значит, тот знак, что скоро в том месте обвал может случиться. И вот велели этот забой очистить до надёжного грунта одному безответному горюну Гане Заре, а он на эту смертную работу взял да и привёл с собой свою девчушку-сиротку. Так рассудил: коли погибнуть причётся, так уж вместе. Ну, Хозяйка горы, видно, и смилостивилась над ребёнком, а может, и самого Ганю пожалела: допустила этого рудобоя с одним стариком очистить горное зеркало. Дело, прямо сказать, небывалос. Рудничным, конечно, любопытно. Как

к подъёму объявили, народ и кинулся поглядеть. Прибежали, видят — над забоем зеркало наклонилось, и кругом из породы явственно рама обозначалась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на-нет сошло. Кто поближе подойдёт, тот и шарахнется сперва, а потом засмеётся. Зеркало-то, видишь, кажет человека вовсе несообразно. Нос, скажем, с большой угор, усы как дрова разбросаны. Даже глядеть страшно, и смешно тоже.

Рудничным надзирателем в том месте Ераско Поспешай был. Егозливый такой старичонко, лисьей повадки и к своему карману шибко ласковый. Он — этот Поспешай и придумал:

— Напишу-ко я грамотку заграничной барыне, — не пожалует ли она мне какую награду за эту штуку!

Ну, и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то открыли в руднике диковинное зеркало. Не иначе самой хозяйки Медной горы. Не желаете ли поглядеть?

До того, как народ плакался от немкиных наездов, Ераску, понятно, дела нет. Об одном забота, — как бы свою выгоду не упустить. Он и послал свою грамотку с нарочным. И не ошибся, подлая душа. На другой же день на семи ли, восьми тройках прикатила барыня из Сысерти со всей своей оравой и первым делом потребовала к себе Ераска.

— Показывай, какое зеркало нашёл!

Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают: никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила своё:

— Пойду и пойду!

Тут ещё ба́ринок из заграничных бодрится. При ней был. За брата или там за какую родню выдавала и всегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:

— Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что!

Делать нечего, стали их спускать. Начальство всё в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блендочки ей светит. Довёл-таки до места! Оглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:

— Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Раззор доставь!

Ераско давай ей втолковывать, что делать это никак нельзя, а барыня своё:

— Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому, как я хозяйка этой горы!

Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло: Барыня завизжала и без памяти повалилась.

Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.

Заграничная барыня жива осталась, только с той поры всё дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут и никак их ни к чему не научишь.

Заграничному баринку, который всё ещё хвалился: мы да мы, тоже повреждение случилось. На глаз будто малое, а приметное.

Ему самый конешничок носу сшибло. Как ножом срезало, — ноздри вовсе на волю глядеть стали.

— Нюхай, дескать, во все стороны, а говорить погоди, а то один мык выйдет.

Память, значит, ему Хозяйка горы дала: не задавайся, не мыкай до времени!

А зеркала в горе не стало: всё осыпалось:

ПРО ГЛАВНОГО ВОРА

Сказ дегтярского горняка

Как мне здешние места не знать! В этой самой деревне Кунгурке родился, около неё всю жизнь по рудникам да приискам кайлой долбил да лопаткой ширкал. Все, можно сказать, тропки отоптал, всякий ложок обыскал, каждую горушечку обстукал,— не пахнет ли где золотишком, не звенит ли серебро, не бренчат ли хоть медяшки. Найти немного нашёл, а людей-таки повидал, кого — с головы, кого — с пяток.

И про старину слышал. Много старики сказывали, да память у меня на эти штуки тупая. Всё забыл, сколь ни занятно казалось. Про одного вот только старинного немца в голове засело. Это помню. Недаром его прозвали главный вор. Главный и есть! Про такого не забудешь.

Немецких воров тоже и живых немало видать случалось. Одного такого фон-барона с поличным ловить доводилось. Бревером звали, а прозвище ему было Усатик.

Старались мы тогда артёлкой недалеко от Горного Щита, а этот фон-барон Усатик держал прииск рядом, на казённой земле. И что ты думаешь? Стал он у нас песок ортами воровать. Зароются, значит, в нашу сторону и таскают из нашего пласта. Ну, поймали мы этого Усатика на таком деле, а он, прусачье мясо, хоть бы что:

— Фуй, какой,— говорит,— малый слёф! Бутылка фотки такой слёф не стоит:

Этим пустяком и отъехал. Другой раз поймали, опять отговорку нашёл. Рабочие, дескать, пришиблись маленько. Да ещё жалуется:

— Русски рабочий очень плёхо слышит. Говориль ему,— пери зюд-вест, фсегда пери зюд-вест, а оч перёт ост. Штраф такая работа надо!

И хоть бы покраснел. А сам важной такой. Усы по четверти, брюхо на аршин вперед, одёжа, как полагается по барскому званию. Кабы не поймали с поличным, век бы никто не подумал, что такой барин придумал эту пакость — песок воровать. А горнощитские старатели, которые на немцевом прииске колотились, в одно слово сказывали, — только о том и наказывал:

— Ост пери! Фсегда ост пери! Там песок ошчень лютший.

Да ведь ещё что придумал? Как сорвала с него наша артелька четвертной билет за воровство, так он хотел эти деньги со своих рабочих выморщить: вы, дескать, виноваты. Ну, те не дались, понятно. Объявили — в суд пойдём, коли такая прижимка случится.

Тоже и в здешних местах немцев видал. В те годы Дегтярского рудника и в помине не было. Один Крылатовский гремел. На три чаши там работу вели. По-старому это немало считалось. Ну, старатели тоже кругом копошились. Поводок к нашей Дегтярке обозначаться стал. То один, то другой, глядишь, найдёт занятый камешок. Разведывать помаленьку стали. Немец и объявился. Он хоть толстоносый, а нюх на эти дела у него не хуже самой чутливой собаки. И на то не гляди, что немец любит брюхо нажить. Он на такую штуку, чтоб к чужому подобраться, вовсе лёгкий. Вроде пушинки прильнёт, и не заметишь. А доверься ему, так не то что кошёлёк с добычей, — ложку из-за голенища стянет. Не побрезгует! Нагляделся я на таких-то. Знаю.

Сысертские владельцы большой приверженности к немцам не имели, а немцы всё-таки подобрались как-то, — мы, дескать, тут шахту бить станем. Ну, сговорились. Заложили шахту. Берлином её прозвали для важности. Знай, дескать, наших! А сами вовсе мелкодушные ворюги. Пустяк какой — и тот прикарманят и штрафами народ донимают невмочь. Недаром рабочих больше из башкир нани-

33702

мали. Наши, известно, хоть маленько за себя постоять могли, а башкирам при старом-то положении вовсе туго приходилось. Немцы этим и пользовались. Потому у этой шахты в посёлке больше башкиры да чуваша живут.

Эту немецкую шахту, конечно, теперь по-другому зовут. Вскорости после революции ей новое имя дали. При моих это глазах было. Как сейчас помню. Собрались это перед началом работы. Ну, тут и говорят, какое бы новое имя придумать, чтоб немецкий этот Берлин без остатка покрыло. Тут и вышел на круг башкирец один — дедушко Ирхуша Телекаев. В недавних годах он помер, а тогда ещё в силах был. Ну, всё-таки старенькой и видел плоховато, а руками дюжий. Все, понятно, удивились, как он к разговору вышел, подбадривают.

— Говори, дедушка Ирхуша! Сказывай, что придумал. Старик и отвечает:

— Знаю такое слово. Оно всё перекрыть может!

— Какое? — спрашивают.

— Большевик, — говорит, — такое слово будет!

Все, конечно, захлопали в ладоши.

— Правильно сказал, дедушко Ирхуша!

С той поры эту шахту и стали так звать. На прежнюю она, понятно, нисколько не походит. По-новому всё устроено. Ну, ладно. Не про это разговор. Про другого немца в голове держу.

Этот был на особу стать: Такой ворина, что другого, может, по всем землям не сыскать. Он все здешние заводы у казны украл и целую гору заглотил. И не подавился. Вот какой брюхан!

Так, рассказывают, дело вышло. По нашим местам только и было заводчиков, что казна да Демидовы. Демидовы из кузнецов вышли. В заводском деле они понятие имели. Немцев им ни к чему, своим народом обходились. А при казённых заводах в ту пору немцев порядком сидело. Пособлять делу будто их навезли. Они, значит, и пособляли

левой рукой из правого кармана. Может, и не все на одну колодку были, а всё-таки дело у них не шло. От всех заводов казне убыток. Кому это поглянется? А тут ещё Демидовы, как тесто на хорошей опаре, на глазах у всех подымались,—богатели дальше некуда. Вот и пошёл разговор, какую перемену сделать, чтоб казне от заводов тоже прибыль шла.

У немцев в ту пору при царице которой-то большая сила была. Как на собачью свадьбу их сбежалось, и все в чинах. Этот — генерал, другой — министр, а у третьего должность того выше — при царице вроде мужа ходит. Ну, и мелких немчиков большая стая. Вот и стали эти царицыны немцы подвывать.

— Надо, дескать, из немецкой земли такого умного добыть, чтоб он всё дело о казённых заводах распутал.

Так и сделали. Привезли ещё какого-то немца. Для начала всяких чинов надавали. Стал он называться обер гер, над горами голова, а на поверку вышел несусветный вор, ненасытно брюхо.

Привели этого немца к царице, нахваливают его всяко.

— Этот, дескать, может всякий убыток в прибыль обернуть.

Царица обрадовалась, говорит:

— Давно такого нам надо. Осмотри, сделай милость, казённые заводы и дай полное тому делу решение.

— Хорошо,— отвечает,— только надо сперва всё до тонкости разобрать, а на это время потребуется.

— Об этом,— говорит царица,— не беспокойся. Жалованье положим подходящее, прогон генеральский. Поезди, погляди своими глазами.

Приехал этот немец в здешние места. Поразнюхал дело. А в те годы самый большой разговор был о горе Благодати. Какой-то, сказывают, охотник принёс камешки с этой горы в наш город и показал горному начальству. Те видят — железная руда самого высокого сорту, живо на-

рядили знающих людей поглядеть на месте. Оказалось, — вся гора из сплошной руды. Понятно, такое место сразу остолбили и за казну взяли. Вскорости завод тут строить стали. Вовсе по-хорошему.

Демидов, конечно, мимо этого дела не прошёл, тоже руки к рудной горе протянул. Да ещё что! На своих приспешников накинудся.

— Куда глядели? Почему охотника с рудой до начальства допустили?

Приспешникам что делать? Они, сказывают, взяли да и убили того охотника, чтоб напредки другие не смели мимо Демидова руду проносить. Одним словом, круто заварилось.

Тут ещё один заводчик выискался. Как услышал про рудную гору, заявку подал:

— Допустите в долю! Это место мне давно ведомо. На него и метил, как свой завод ставил.

Немец из этого понял — большой кусок эта гора Благодать. Не стал больше по заводам трястись, сразу к царице уехал.

— Так и так, — говорит, — оглядел я все заводы и вижу — самое прибыльное эти заводы по рукам раздать. Без хлопот тогда будет. А мне за такой совет отдать гору Благодать. По крайности тогда никакого спору не будет. Ну, и заводы, которые при горе строятся, мне же отдать причтётся, чтоб из-за них беспокойства не случилось. Уж потружусь как-нибудь.

Остальные немцы, которые при этом разговоре случились, радуются, похваливают:

— Ай, малатец какой! Ай, малатец! Всё сразу понимал.

Из русских бар тоже мошенников нашлось. Стали тому немцу поддывать:

— Мы-де на это согласны. Можем любой завод за се-

бя переодести, особливо ежели бесплатно, либо в долг на многие годы.

Царице и думать нечего. Да у ней только три слова грамоты и было: сослать да повесить, да быть по сему! Живо немцу бумажку нужным словом подмахнула.

С той поры вот все казённые заводы и расползлись по барским рукам, а немец тот — главный-то вор — больше всех захватил. Ему гороблагодатские заводы достались да ещё царица сделала его главным над всеми здешними заводами. Он и давай хапать, что углядит.

Другие, коим по заводу из казны попало, хоть в должниках числились, а этот немец как раз наоборот. Сам не платил, а новые долги делал и так ловко подводил, что все эти долги на казну переписывал. Я, дескать, тружусь, дураков ловлю да деньги с них вытягиваю, а казна пусть платит. Тогда и выйдет без обиды.

Мало этого показалось, так стал железо с казённых заводов, которое раньше было сделано, от себя продавать.

До той поры хозяйничал, пока та царица ноги не протянула. Тут, понятно, взяли кота поперёк живота, а он отговаривается, дескать, человек немецкий и по здешним законам судить невозможно. Ну, говорят, сослани всё-таки, а воровскую выдумку, чтоб казённые заводы по рукам расхватывать, не забросили. Это, видно, по душе пришлось.

Вот про этого старинного немца памятка по заводам и держится. Так и зовут его обер гор — главный вор, гору проглотил и заводы у казны украл.

ИВАНКО-КРЫЛАТКО

Про наших златоустовских славна сплётка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводы

ские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто так написано.

Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймёшь, как дело было,— кто у кого учился!

То правда, что наш завод под немецким правлением бывал. Года два ли, три вовсе за немцем-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошёл, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полных две улицы набились. Так и звали «Большая немецкая» — это которая меж горой Бутыловкой да Богданкой, «Малая немецкая». Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.

Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался.

Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе за-долго до наших в здешних местах поселились.

Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится.

Вот и выходит — нашим и без навозного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому своё добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберёт, походит ли баран на беркута,— немецкая то-есть работа на здешнюю.

Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал: При крепостном ещё положении было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве всё немцы ходили. Только уж пошёл разговор, — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему

немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошёл. Немцы и забеспокоились: Привезли из своей земли какого-то Вурму ли Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили, едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после Мумры-то к этой немецкой хвастне безо внимания. Меж собой одно судят:

— Язык без костей. Мели, что хочешь, коли воля дана.

Только верно — приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько.

— Штоф не чекушка. Двоём усидишь, и то песни запоёшь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа:

Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть на выкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось: шибко здыморыльничал и на всё здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко.

Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один, у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Всё честь-честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенёчками, чолку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте хоть силышки считай. Стоит золотой конёк, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички, цепочки разобрать можно. Одно не поймёшь — к чему она тут над коньком пристроилась.

Отделает Фуйко саблю и похвалется:

— Это есть немецкий рапота!

Начальство ему поддувает:

— О, та. Такой тонкий работа руски понимайт не может.

Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству,— так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, своё твердит:

— Это есть ошень тонкий работа. Руски понимайт не может.

Наши мастера на своём стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечёт знали, да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришёлся.

Тут в цех и пришёл дедушка Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами разаркался и своё дело завёл. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделявать. Ну, и от позолоты не отказывался.

И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренёк, не то племянник, не то внучонок — Иванко, той же фамилии Бушуев. Смышлёный по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушко не отпускал.

— Не допущу,— кричит,— чтобы Иванко с немцами якшался. Руку испортят и глаз замутят.

Поглядел дедушка Бушуев на фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил:

— Чистая работа!

Потом, мало погода, похвастался:

— А всё-таки у моего Ванятки рука смелее и глаз веселее.

Мастера за эти слова и схватились:

— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.

Ну, старик ни в какуюю.

Все знали,— старик неподатливый, самостоятельного характера. Правду сказать, вовсе поперёшный. А всё-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушёл, мастера и переговариваются меж собой:

— Верно, попытать бы!

Другие опять отговаривают:

— Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь!

Кто опять придумывает:

— Может, хитрость какую в этом деле подвести?

А то им невдогадку, что старик из цеха сумный пошёл!

— Ну, как — русский человек! Разве ему охота ниже немна ходить? Никогда этого не бывало!

Всё-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал:

— Иванко, айда на завод!

Парень удивился:

— Зачем?

— А затем,— кричит,— что надобно этого немецкого Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.

Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил, только Иванко об этом помалкивал, а старик расхотился.

— Коли,— говорит,— немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую!

У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался:

— Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу,

Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил,— живо побежал на завод. Поговорил с мастерами,— так и так, дедушко согласен, а я и подавно: Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по положению к Фуйке русского ученика поставить,— Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Лёгкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит! Как весенняя байга у башкир бывает, так на трёхлетках его пускали. И коней он знал до косточки.

Немецкое начальство сперва поартачилося, потом глядит — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца кони выходят, только живым не пахнут. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака строит, дивится, как у немца ловко каждая чёрточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает да приговаривает:

— Это есть немецкий рапота.

Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству:

— Пюра этот мальшинок проба ставить,— а сам подмигивает, вот-де смеху-то будет. Начальство сразу согласилось.

Иванко про этот немецкий сговор узнал. Пришёл домой, рассказывает дедушке:

— Собираются немцы мне завтра пробу давать!

— Ну, что ж,— отвечает,— постараться надо.

— Это,— говорит Иванко,— само собой, а вот что ты мне посоветуешь?

— Одно,— отвечает,— посоветую: всегда помни,— не должен русский мастер ниже немецкого ходить.

Иванко вздохнул:

— Сам, поди-ко, то понимаю, да как этого добиться?

Старик брови свёл да и говорит:

— Коли вздыхать да вешать головы не станешь, всего достигнешь.

На том и разговор кончился. Забрался старик спать на печь, а Иванко потихоньку утянулся из дому. Ему, видишь, не терпелось поговорить при таком случае с Оксюткой.

Та выбежала, сперва, понятно, затрепыхалась.

— Как быть-то, Иванушко?

Потом видит,— и без того парень приуныл, по-другому заговорила:

— Неуж немца не осилишь?

Иванку неохота кисляком себя перед Оксюткой показать, живее стал плечами пошевеливать: не беспокойся, дескать. А она, знай, нашёптывает:

— Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приделай конику, чтоб он лучше фуйкина вышел.

Пошептали так-то, разошлись.

На другой день поставили Иванка на пробу. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и коронку, где и как сумеет.

Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит—надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил,— буду рисовать коня на полном бегу: Только как тогда с короной? Думал-думал и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней корону вырисовал. Тоже все жички-веточки разберёшь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит.

Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли, и корона делу не мешает,— будто несут её кони.

Подумал ещё Иванко. Вспомнил, что Оксютка шептала, и говорит:

— Э, была не была! Может, так ещё лучше!

Взял да и приделал тем конькам крылышки и видит — точно, ещё лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.

К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. Объявил,— сдаю пробу! Ну, люди сходиться стали.

Первым дедушко Бушуев приплёлся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки, и по-башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:

— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.

Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли.

— Какой глупость! Кто видель коня с крыльом? Почему корона сбок лежалъ? Это есть поношений на коронованный особ!

Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился.

— Псы вы,— кричит,— безмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиновые башки. Что вы в таком деле понимаете?

Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб всамделе немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку:

— Такой глупый мальчишка завод не пускайть! Штраф платить будет! Штраф!

Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил:

— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживём. И штраф им выбросим. Пускай подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую,— и не препятствую.

Иванко повеселел маленько да и обмолвился:

— Это она надоумила крылышки-то конькам приделывать.

Дедушка удивился:

— Неуж такая смышлѣная девка?

Потом помолчал малость да и закричал на всю улицу:

— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчёт крылатых коньков не беспокойся. Не всё немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Ещё, гляди, награду тебе дадут! Помяни моё слово.

Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.

Вскороги после иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Ещё из кутузовских. Немало он супостата покрошил и немецкие, сказывают, города брал.

Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, человек заслуженный. Царь и взял его для почёту в свою свиту. Только глядит,— у старика заслуг-то на груди небогато.

У ближних царских холуев, которые платок поднимают да кресло подставляют,— куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.

На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит генералу:

— Жалую тебя саблей с золотым украшением. Выбери самолучшую.

Немцы, понятно, спозаранку всю фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу её ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, полировку, все винтики опробовал и говорит:

— много я на своём веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полётом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.

Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришёл тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:

— Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твоё мастерство. В самую точку попал. Твоя рисовка к доброму казацкому удару ведёт.

Тут генерал так саблей жикнул, царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не знаю,— правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому, видишь,— пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать.

С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатком звать. Через год ли больше за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим всё-таки мастерство имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.

Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались.

Ну, это не один год тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать. Вот хоть алмазную спичку хватить. Сколько они тут подводу делали да как исхитрялись! Только про это другой раз скажу.

Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахваливал:

— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо росят. В одном оплошка. Не принесла Оксютка мне тако-

го правнучка, чтобы сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесёт ещё, а может, у этих крылья отрастут. Как думаете?

Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда?

ТАРАКАНЬЕ МЫЛО

В наших-то правителях дураков всё-таки много было. Иной удумает, так сразу голова заболит, как услышишь. А хуже всего с немцами приходилось. Другого хоть урезонить можно, а немца никак. Своё твердит:

— О! Я ошень понималь!

Одному такому — не то он в министрах служил, не то ещё выше — и пришло в башку наших горщиков уму-разуму учить. По немецкому положению первым делом учёного немца в здешние места привёз. Он, дескать, новые места покажет, где какой камень искать, да ещё такие камни отыщет, про которые никто и не слыхивал.

Вот приехал этот немец. Из себя худощавый, а видный. Ходит форсисто, говорит с растяжкой. В очках.

Стал этот приезжий немец по нашим горочкам расхаживать. По старым, конечно, разработкам норовит. Так-то, видно, ему сподручнее показалось.

Подберёт какой камешек, оглядит, подымет руку вверх и скажет с важностью:

— Это есть желесный рута!

— Это есть метный рута!

Или ещё там что.

Скажет так-то и на всех свысока поглядывает: вот, дескать, я какой понимающий. Потом начнёт по-своему, по-немецкому наговаривать. Когда с полчаса долдонит, а сам головой мотает, руками размахивает. Прямо сказать,

до поту старался. Известно, деньги плачены,— он, значит, видимость и оказывал.

Горное начальство, может, половину того немецкого пустоговоря не понимало, а только про себя смекало: раз этот немец от высшего начальства присланный, не прекословить же ему. Начальство, значит, слушает немца, спины гнёт да приговаривает:

— Так точно, ваше немецкое благородие. Истинную правду изволите говорить. Такой камешок тут и добывался.

Старым горщикам это немцево похождение за обиду пришлось.

— Как так? Все горы-ложки исходили, исползали, всякий следок-поводок к камню понимать можем, а тут на-ко — привезли незнакомого человека, и будто он больше нашего в наших местах понимает. Зря деньги бросили.

Ну, нашлись и такие, кто на немецкую руку потянул. Известно, начальству угодить желают. Разговор повели: сн-де шибко учёный, в генеральских чинах да еще из самой серёдки немецкой земли, а там, сказывают, народ вовсе дошлый: с тараканов сало сымают да мыло варят.

За спор у стариков дело пошло, а тут на это время случился Афоня Хрусталёк. Мужичонка ещё не старый, а на славе. Он из гранильщиков был. Места, где дорогой камешок родится, до пятнышка знал. И Хрусталёком его недаром прозвали. Он, видишь, из горных хрусталей, а то и вовсе из стекла дорогие камешки выгонял. И так ловко сделает, что кто и понимающий не сразу в этой афониной поделке разберётся. Вот за это и прозвали его Хрусталёком.

Ну, Афоня на то не обижался:

— Что ж,— говорит,— хрусталёк не простая галька: рядом с дорогим камнем растёт, а когда солнышко ловко придётся, так и вовсе заиграет, не хуже настоящего.

Послушал это Афоня насчёт тараканьего мыла да и говорит:

— Пушай немец сам тем мылом моется. У нас лучше того придумано.

— Как так? — спрашивают:

— Очень, — отвечает, — просто: выпарился в бане докрасна да окатился полной шайкой — и ходи всю неделю, как новенький.

Старики, которые на немца обнадёживались, слышат, к чему Афоня клонит, говорят ему:

— Ты, Афоня, немецкую науку не опровергай.

— Я, — отвечает, — и не опровергаю, а про то говорю, что и мы не без науки живём, и еще никто не смерил, чья наука выше. В том хитрости мало, что на старых отвалах руду узнать. А ты попробуй новое место показать либо в огранке разобраться, тогда видно будет, сколько ты в деле понятия имеешь. Пусть-ко твой немец ко мне зайдёт! Погляжу я, как он в камнях разбирается.

Про этот афонин разговор потом вспомнили, как немец захотел на память про здешние места топазову печатку заказать. Кто-то возьми и надоумь:

— Лучше Афони Хрусталька ни у кого теперь печаточных камней не найдёшь.

Старики, которые на немецку руку, стали отговаривать:

— Не было бы тут подделки! Тоже ведь Хрусталька! Мастак на эти дела.

А немец хвалится:

— О, мой это карашо знайт! Натураль-камень лютше всех объяснять могу.

Раз так хвалит, что сделаешь, — свели к Афоне, а тот и показал немцу камешки своей чистой работы. Не разобрал ведь немец! Две топазовые печатки в свою немецкую сторону увёз да там и показывает: вот, дескать, какой настоящий топаз бывает. А Хрустальк все-таки написал ему письмоцо.

— Так и так, ваше немецкое благородие. Надо бы тебе сперва очки тараканьим мылом промыть, а то плохо видишь. Печатки-то из жареного стекла тебе проданы.

Горный начальник, как прослышал про это письмецо, накинулся на Афоню:

— Как ты смел, такой-сякой, учёного немца конфузить!

Ну, Хрусталёк не из пужливых был. На эти слова и говорит:

— Он сам себя, поди-ко, сконфузил. Взятся здешним горщикам камни показывать, а у самого толку нет, чтобы камень от бутылочного стекла отличить.

Загнали всё-таки Афоню в каталажку. Посидел он сколько-то, а немец так и не откликнулся. Тоже, видно, стыд поимел. А наши прозвали этого немца — Тараканье мыло.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛАК

Наши старики по Тагилу да по Невьянскѹ тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так, для домашности да для веселья глазу они рисовку в железно вгоняли

Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Прибыльное, можно сказать, мастерство. Поделка, видишь, из денгѣвых, спрос на неё большой, а знающих ту хитрость мало. Семей, поди, с десятков по Тагилу да столько же, может, по Невьянску. Они и кормились от этого ремесла. И неплохо, сказать, кормились.

Дело по видимости простое. Нарисуют кому что либо на железном подносе, либо того проще — вырежут с печатного картинку какую, наклеят её и покроют лаком. А лак такой, что через него всё до капельки видно, и станет

та рисовка либо картинка как влитая в железо. Глядишь и не поймёшь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом её не берет. Коли случится какую домашнюю кислоту на поднос пролить либо вино сплеснуть — вреда подносу нет. На что едучие настойки в старину бывали, от тех даже пятна не оставалось. Паяльную кислоту, коей железо к железу крепят, и ту, сказывают, доброго мастерства подносы выдерживали. Ну, конечно, ежели царской водкой либо купоросным маслом капнуть — дырка будет. Тут не заспиришь, потому как против них не то что лак, а чугуи и железо выстоять не могут.

Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла.

Такой лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего, про то одни главные мастера знали и тайность эту крепко держали.

Назывался этот лак, глядя по месту, либо тагильским, либо невьянским, а больше того — хрустальным.

Слух об этом хрустальном лаке далеко прошёл и до немцев, видно, докатился. И вот объявился в здешних местах вроде, сказать, проезжающий барин из немцев. Птаха, видать, из больших. От заводского начальства ему всё устроено, а урядник да стражники чуть не стелют солому под ноги тому немцу.

Стал этот проезжающий будто заводы да рудники осматривать. Глядит легонько, с пятого на десятое, а мастерские, в коих подносы делали, небось, ни одну не пропустил. Да ещё та заметка вышла, что в провожатых в этом разе завсегда урядник ходил.

В мастерских покупал немец поделку, всяко её нахваливал, а больше того допытывался, как такой лак варят.

Мастера, как наподбор, из староверов были. Сердить урядника им не с руки, потому — он может прижимку по вере подстроить. Мастера, значит, и старались мяконько отойти: со всяким обхождением плели немцу околесицу:

И так надо понимать, — спозаранку сговорились, потому — в одно слово у них выходило.

Дескать, так и так, варим на постном масле шеллак да сандарак. На ведро берём одного столько-то, другого — столько да ещё голландской сажки с пригоршни подкидываем. Можно и побольше — это делу не помеха: А время так замечать надо. Как появится на масле первый пузырь, читай от этого пузыря молитву исусову три раза да снимай с огня. Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза-слезой, коли запозднишься либо заторопишься — станет сажа-сажей.

Немец все составы записал, а про время мало любопытствовал. Рассудил, видно, про себя: были бы составы ведомы, а время по минутам подогнуть можно.

С тем и уехал. Какой хрусталь у него вышел, про то не сказывал. Только вскорости объявился в Тагиле опять немец. Этот вовсе другой статьи. Вроде как из лавочных сидельцев, кои навыкли всякого покупателя оболтать да облапошить. Смолоду, видно, на нашей земле топчется, потому — говорит чётко. Из себя пухлявый, а ходу лёгкого: как порховка по заводу летает. На немца будто и не походит, и прозвание ему самое простое — Фёдор Фёдорыч: Только глаза у этого немецкого Двоефеди белёдые, все бесстыжие, и руки короткопалые. Самая, значит, та примета, которая вора кажет. Да ещё приметливые люди углядели: на правой руке рванинка. Накосо через всю ладонь прошла. Похоже, либо за нож хватался, либо рубанули по этому месту, да скользом пришлось. Одним словом, из таких бывальцев, с коими один на один спать остерегайся.

Вот живёт этот короткопалый Двоефедя в заводе неделю, другую. Живёт месяц. Со всеми торгашами снюхался, к начальству вхож, с заводскими служаками знакомство свёл. Попить-погулять в кабаке не чурается и денег, видать, не жалеет: не столь у других угощается, сколько сам угощает. Одно слово, простягу из себя строит. Толь-

ко и то замечают люди. Дела у него никакого нет, а разговор к одному клонит: про подносных мастеров спрашивает, кто чем дышит, у кого какая семейственность да какой норов. Ну, всё до тонкости. И то, как говорится, ему скажи, у кого, в котором месте спина свербит, у кого ноги мокнут.

Расспрашивает этак-то, а сам по мастерским не ходит, будто к этому без интересу. Ну, заводские, понятно, видят, о чём немец хлопочет, меж собой пересмеиваются.

— Ходит кошка, воробья не видит, а тот близенько по-скакивает, да сам зорко поглядывает.

Любопытствуют, что дальше будет. Через какую подворотню короткопалый за хрустальным лаком подлезать станет.

Дело, конечно, не из лёгоньких. Староверы, известно, народ трудный. Без уставной молитвы к ним и в избы не попадёшь. На чужое угощение не больно зарны. Когда, случается, винишком забавляются, так своим кругом. С чужаками в таком разе не якшаются, за грех даже такое почитают. Вот и подойди к ним!

За деньги тоже никого купить невозможно, потому — видать, что за эту тайность у всех мастеров головы позаложены. В случае чего остальные артелью убить могут.

Ну, всё-таки немец нашёл подход.

В числе прочих мастеров по подносному делу был в Тагиле Артюха Сергач. Он, конечно, тоже из староверов вышел, да от веры давно откачулся. С молодых лет, сказывают, слюбился с одной девчонкой. Старики давай его усовещать: негоже дело, потому она из церковных, а он упёрся: хочу с этой девахой в закон вступить. Тут, понятно, всего было. Только Артюха на своём устоял и от старой веры отшатнулся. А как мужик задорный, он ещё придумал серёжку себе в ухо пристроить. Натек-ко, мол, поглядите! За это Артюху и прозвали Сергачом.

К той поре Артюха уж в пожилых ходил. Вовсе густобородый мужик, а задору не потерял. Нет-нет и придумает что-нибудь новенькое либо какую негодную начальству картинку в поднос вгонит. Из-за этого Артюхина поделка на большой славе была.

Тайность с лаком он, конечно, не хуже других мастеров знал.

Вот к этому Артюхе Сергачу и стал немецкий Двоефедя подъезжать с разговорами, а тот, можно сказать, сам навстречу идёт. Не хуже немца на пустом месте разводы разводит.

Кто настояще понимал Артюху, те переговариваются:

— Мужик с выдумкой — покажет он короткопалому коку с сокой.

А мастера, кои тайность с лаком знали, забеспокоились, грозятся.

— Гляди, Артемий! Выболтаешь — худо будет!

Сергач на это и говорит по-хорошему:

— Что вы, старики. Неуж у меня совесть подымется своё родное немцу продать. Другой, поди-ко, интерес имею. Того немца обманно тележным лаком спровадили, а этого мне охота в таком виде домой пустить, чтоб в башке угар, а в кошельке хрусталь. Тогда, небось, другим неповадно будет своим нюхтилом в наши дела соваться.

Мастера всё-таки своё твердят:

— Дело твоё, а в случае — не пощадим!

— Какая, — отвечает, — может быть пощада за такие дела! Только будьте в надежде — не прошибусь. И о деньгах не беспокойтесь. Сколь выжму из немца, на всех разделю, потому лак не мой, а наш тагильский да невьянский.

Мастера недолюбливали Артюху за старое, а всёжтаки знали, — в словах он не вёрткий, что скажет, то и сделает. Поверили маленько, ушли, а Сергач после этого разговору

в открытую по кабакам с немцем пошёл да ещё сам стал о хрустальном лаке заговаривать.

Немец, понятно, рад-радёхонек, словами Артюху всяко подталкивает. Ну, ясное дело, договорились.

— Хошь — продам?

И сразу цену сказал. С большим, конечно, запросом:

Немец сперва хитрил: дескать, раденья к такому делу не имею. Мало погода рядиться стал. Столковались за сколько-то там тысяч, только немец уговаривается.

— За одну словесность ни копейки не дам. Сперва ты мне всё покажи: как варят, как им железо кроют. Когда всё своими глазами увижу да своей рукой опробую, тогда получиай сполна.

Артюха на это смеётся.

— Наша, — говорит, — земля таких дураков не рождает, чтоб сперва тайность открыть, а потом расчёт выхаживать. Тут, — говорит, — заведено наоборот: сперва деньги на кон, потом показ будет.

Немец, понятно, жмётся, — боится деньги просадить:

— Не согласен, — говорит, — на это.

Тогда Артюха вроде как на уступку пошёл.

— Коли, — говорит, — ты такой боязливый, вот моё последнее слово. Тысячу рублей задаток отдаёшь сейчас, остальные деньги надёжному заручнику. Ежели я что сделаю неправильно, — получиай эти деньги обратно, ежели у тебя понятия либо духу нехватит — мои деньги.

Этот разговор о заручнике пришёлся по нраву немцу, он и давай перебирать своих знакомцев. Этого, дескать, можно бы, либо вон того. Хорошие люди, самостоятельные. И всё, понятно, торгашей выставляет. Послушал Артюха и отрезал пряником:

— Не труди-ко язык! Таких мне и близко не надо: Заручником ставлю дедушка Мирона Саватейча из Литейной. Он хоть старой веры, а правильной тропой ходит. Кого хочешь спроси. Самая подлая душа не насмелится ху-

дое про него сказать. Ему деньги и отдашь. А коли надобно свидетелей, ставь двоих, каких тебе любо, только с уговором, чтоб при показе они своих носов не совали. К этому не допускаю.

Немцу делать нечего,— согласился. Вечером сходили к дедушке Миرونу. Он по началу заартачился. Строго так стал доспрашивать Артюху:

— Какое твоё право тайношь продавать, коли ей другие мастера тоже кормятся?

Артюха на это говорит:

— Наши мастера не без глаз ходят, и я свою голову не в рубле ставлю. Одна серёжка, поди-ко, дороже стоит, потому — золотая да ещё с камнем. А только, знаешь, в игре на каждую сторону заводило полагается.

Немец, понятно, не уразумел этого разговору, а дедушко Мирон понял — мастерам дело известно, с немцем игра на смекалку идёт, а заводилом с нашей стороны поставлен Артюха Сергач.

Дедушко ещё подумал маленько. Перевёл, видно, в голове, почему Артюху заводилом ставят. И то прикинул,— мужик с причудой, а надёжный,— говорит твёрдо:

— Ладно. Приму деньги при двух свидетелях. А какой уговор будет?

Артюха и спрашивает:

— Знаешь наше ремесло?

— Как,— отвечает,— не знать, коли в этом заводе век живу. Видал, как подносы выгибают да рисовку на них выводят, либо картинки наклеивают, а потом в горячих банях ту поделку лаком кроют. А какого состава тот лак — это ведомо только мастерам.

— Ну так вот,— говорит Артюха,— берусь я на глазах этого приезжего сварить лак, и может он мерой и весом записать составы. А когда лак доспеет, берусь при этом же приезжем покрыть дюжину подносов, какие он выберет. И может он, коли пожелает и силы хватит, сво-

ей рукой ту работу попробовать. Коли после этого поделка окажется хорошей, отдашь деньги мне, коли что не выйдет — деньги обратно ему.

Немец своё выговаривает: сварить лаку не меньше четвертной бутылки, до дела лак хранить за печатью, и остаток может немец взять с собой.

Артюха на это согласен, одно оговорил:

— Хранить за печатью в стеклянной посуде, чтоб отстой во-время углядеть.

Столковались на этом. Дедушко Мирон тогда и говорит немецкому Двоефедю:

— Тащи деньги. Зови своих свидетелей. Надо при них уговор сказать, чтоб потом пустых разговоров не вышло.

Сбегал немец за деньгами, привёл двух своих знакомцев. Артюха вдругорядь сказал уговор, а немец своё выставляет да ещё то выражает, чтоб дюжину подносов, кои при пробе выйдут, ему получить бесплатно.

Артюха усмехнулся и промолвил:

— Тринадцатый на придачу получишь!

Немец после этого поёжился, похныкал, что денег много закладывать надо, да дедушко Мирон заворчал:

— Коли денег жалко, на что тогда людей беспокоишь. Не от безделья мне с тобой балясничать! Либо отдавай деньги, либо ступай домой!..

Отдал тогда немец деньги, а Сергач и говорит:

— С утра приходи, — лак варить буду.

На другой день немец прибежал с весами да какими-то трубочками и четвертную бутылку приволок.

Артюха, конечно, стал лак варить из тех сортов, про кои проезжему немецкому барину сказывалось. Короткопалый Двоефедя, видать, сомневается, а сперва молчал. Ну, как стал Артюха горстями сажу подкидывать, не утерпел, проговорился:

— Чёрный лак из этого выйдет!

Артюха прицепился к этому слову:

— Ты как узпал? Видно, сам варить пробовал?

Немец отговаривается: по книжкам, дескать, составы знаю, а самому варить не доводилось. Артюха своё твердит:

— А я вижу — сам варил!

Немец тут строгость на себя напустил!

— Что, дескать, за шутки такие! Собрались по делу, а не для пустых разговоров!

Под эти перекоры лак и сварился. Снял Артюха с огня казанок, а как он чуть поостудился, немец всю варю слил в четвертину и наладился домой тащить, да Артюха не допустил.

— Припечатывать, — говорит, — припечатывай, а место лаку в моей малухе должно быть.

Немец тут давай уещать Артюху. То да сё наскazuje, а в конце концов говорит:

— Пю какой причине мне не веришь?

— А по той, — отвечает, — причине, коя у тебя на ладошке обозначена.

Немцу это вроде не по губе пришлось. Сразу ладонь книзу и говорит:

— Это делу не касательно!

Только Артюха не сдаёт:

— Человечья рука, — говорит, — ко всякому касательна. По руке о делах дознаться можно.

Короткопалый тут вовсе осердился, запыхтел, зафыркал, припечатал бутылъ своей немецкой печатью и погрозил:

— Перед делом при свидетелях печать огляжу!

— Это, — отвечает Артюха, — как тебе угодно. Хоть всех своих знакомцев зови.

С тем и разошлись. Немец, понятно, каждый день навевывался, — не пора ли? Только Артюха одно говорил: рано. Мастера тоже приходили лак поглядеть. Поглядят, ухмыльнутся и уйдут. Дней так через пяток, как в бутылъ

ли отстой обозначаться стал, объявили: можно лакировать.

На другой день немец свидетелей привёл, и дедушко Мирон тоже пришёл. Оглядел печать, подносы немец выбрал, в бане тоже всё досмотрели, нет ли какой фальши.

Дедушко Мирон для верности спросил немца, дескать, всё ли в порядке? Немец сперва зафинтил,— может, что не доглядели, а дедушко ему навстречу:

— А ты догляди! Не торопим.

Немец потоптался-потоптался, признал:

— Фальши не замечаю, а только сильно тут жарко: При работе надо двери отворить.

Артюха на это замаялся и говорит:

— Жар ещё весь впереди, как на каменку поддавать буду.

Дедушко Мирон и те другие-то свидетели, даром что из торгашей, это же сказали:

— Всем, дескать, известно, что лак наводят по баням в самом горячем пару,— как только может человек выдюжить.

На этом разговор кончился. Ушли свидетели и дедушко Мирон с ними. Остался Артюха один на один с немецким Двоефедей и говорит:

— Давай разболочаться станем. Без этого на нашей работе не вытерпеть. И тебе надёжнее, что ничего с собой не пронесу.

А сам посмеивается да бороду поглаживает.

Баня, и верно, вовсе жарко натоплена была. Дров для такого случаю Артюха не пожалел, на натурность свою понадеялся. Немец ещё в предбаннике раскис, в баню зашёл — вовсе туго стало, а как стал Артюха полной шайкой на каменку плескать, немец на пол лёг и слова вымолвить не может, только кряхтит да керкает.

Артюха кричит:

— Полежай на полочку! Там, поди-ко, у нас всё наготовлено.

А куда немец ползёт, коли к полу еле жив прижался, головы поднять не может. Артюха на что привычен, и то чувствует — перехватил малость. Усилился всё-таки, забрался на полочку и давай там подносы перебирать, а сам покрикивает:

— Вот гляди! Лаком плесну, кисточкой размахну — и готов поднос. Понял?

Немец ползёт поближе к дверям да бормочет:

— Ох, понял.

Артюха, конечно, живо перебрал подносы, соскочил на пол и давай окачиваться холодной водой. Баня, известно, не вовсе раздольное место: брызги на немца летят. Поросянком завизжал и выскочил из бани. Следом Артюха выбежал, баню на замок запер и говорит:

— Шесть часов для просушки.

Немец, как отдышался, припечатал двери своей печатью. Как время пришло, опять при дедушке Мироне и обоих свидетелях стал Артюха поделку сдавать. Всё, конечно, оказалось в полной исправности, и лаку издержано самая малость. Дедушко Мирон тогда и говорит:

— Ну, дело кончено. Получай, Артемий, деньги.

И подаёт ему пачку. Свидетели тоже помалкивают, а немец ещё придирку строит.

— Тринадцатый, — говорит, — поднос где?

Артюха отвечает:

— За этим дело не станет. В уговоре не было, чтоб на этот поднос в той же партии лак заводить. Я и сделал его особо. Сейчас принесу. Сразу узнаешь, что для тебя готовлено.

И вот, понимаешь, приносит поднос, а на нём коротко копалая рука ладонью вверх. На ладони рванинка обозначена. И лежит на этой ладошке семишник, а сверху чёткими буквами подписано:

«Испить кваску после баньки».

Покрыт поднос самым первосортным хрустальным лаком. Как влита рука-то в железо.

Немец, понятно, зафыркал, заругался, судом грозил да так ни с чем и отъехал.

А Сергач после того собрал всех мастеров по подносному делу, которые в Тагиле жили, и невьянских тоже: Дедушко Мирон к этому случаю подошёл. Артюха тогда и рассказал всё по порядку,— как он с немцем хорошился и что из этого вышло. Потом выложил на стол деньги, которые через дедушку Мирона получил, и свою тысячу, какую в задаток от Двоефеди выморщил, туда же прибавил да и говорит:

— Вот разделите без обиды!

Мастерам стыдно ни за что, ни про что деньги брать; отговариваются,— мы, дескать, к этому не причастны, а сами на пачку поглядывают. Потом разговор к тому клонить стали, чтоб Артюхе двойную долю выделить, только он наотрез отказался.

— С меня,— говорит,— и того хватит, что позабылся над этим немецким Двоефедей.

Пузырёк с хрустальным лаком Артюха, конечно, в бороде тогда прятал.

ВЕСЕЛУХИН ЛОЖОК

У нас за прудом одна логовинка с давних годов на славе. Весёлое такое местичко. Ложок широконыйкий. Весной тут маленько мокреть держится, зато трава кудряватее растёт и цветков большая сила. Кругом, понятно, лес всякой породы. Поглядеть любо.

И приставать с пруда к той логовинке сподручно: берег не крутой и не пологий, а в самый, сказать, раз —

будто нарочком улажено, а дно — песок с рябчиком. Во- все крепкое дно, а ногу не колет. Одним словом, всё как придумано.

Можно сказать, само место к себе тянет: вот-де хорошо тут на берегу посидеть, трубочку-другую выкурить, костерок запалить да на свой завод сдала поглядеть,— не лучше ли житьишко наше покажется.

К этому ложочку здешний народ споконвеку приучен. Ещё при Мосоловых мода завелась.

Они — эти братья Мосоловы, при коих наш завод строением зачинался, из плотницкого званья вышли. По нынешнему сказать вроде подрядчиков, видно, были, да сильно разбогатели и давай свой завод ставить. На большую, значит, воду выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По строилам с ватерпасом да отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят:

— Что-то ноне у меня голову обносить стало. Годы, видно, не те подошли.

Про то, небось не поминали, что каждый брюхо нарастил, еле в двери протолкнуться. Ну, всё-таки Мосоловы до полной барской статьи не дошли, попросту и от народу шибко не отворачивались. Летом, под большой праздник, а то и просто под воскресный день нет-нет и объявят по народу:

— Эй, кому досуг да охота, приезжай утре на ложок, за прудом! Попить, погулять, себя потешить! За полный хозяйский счёт!

И верно, сказывают, в угощеньи не скалдырничали: вина, пирогов и другой всякой закуски без прижиму ставили. Пей, ешь, сколь нутро вытерпеть может.

Известно, подрядчицья повадка: год на работе мают, день вином угощают да словами улецают.

— Уж мы вам, всё едино как отцы детям, ничего не жалеем. Вы обратно для нас постарайтесь!

А чего, постарайтесь, коли и так все кишки вымотаны!

От этих мосоловских гулянок привычка к весёлому ложку и зародилась.

Хозяйское угощенье, понятно, не в частом бывании, а за свои, за родные хоть каждый летний праздник ездят. Запрету нет. Народ, значит, и приучился к этому. Как время посвободнее, глядишь, — чуть не все заводские лодчонки и батилки к весёлому ложку правятся. С винишком, понятно, с пивом. Ну, а закусить чем тоже прихватывали. Кто, как говорится, баранью лытку, кто пирог с молитвой, а то и луковку побольше да погорчее. Одним словом всяк по своей силе-возможности.

Ну, выпьют, зашумят. По-хорошему, конечно: песни поют, пляшут, игры разные затевают. Одно слово, весело людям. Случалось, понятно, и разаркаются на артели. Не без этого. Иной раз и драку разведут, да такую, что охти мне. На другой день всякому стыдно, а себя завинить всё-таки охотников нет. Вот и придумали отговорку.

— Место там такое. Шибко драчливое.

К этому живо добавили:

— Веселуха там, сказывают, живёт. Это она всё и подстраивает. Сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнёт.

Нашлись и такие, кто эту самую Веселуху своими глазами видел, по стакану из её рук принимал и сразу после того в драку кинулся. Известно, ежели человек выпивши, ему всякое показаться может. И столь, знаешь, явственно, что заневолю поверишь, как он сказывать станет.

— Стоим это мы с Матвеичем на бережку, у большой-то сосны. Разговариваем, как обыкновенно, про разное житейское. И видим — идёт не то девка, не то молодуха: Сарафан на ней перепёстрый, цветошчатый. На голове платочек, тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза весёлые, а зубы да губы будто на заказ сработаны.

Одним словом, приметная. Мимо такая пройдёт — на годы, небось, её запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан гранёного хрусталя, в другой — рифчатая бутылка зелёного стекла — цельный штоф. Ну, вот... Подходит эта молодуха к нам, наливает полнёхонек стакан, подаёт Матвейчу и говорит:

— Тряхни-ко, дедушко, для веселья!

У Матвейча, конечно, нет той привычки, чтоб от вина отказываться. Принял стакан, поглядел к свету, полюбился, как вино в хрустале-то играет, и плеснул себе на каменку. Крякнул, конечно, да и говорит:

— Видать, от желанья поднесла. Легонько прокатилось, душу обогрело.

А бабёнка, знай, посмеивается. Наливает опять стакан и подаёт мне.

— Не отстанешь, поди, от старика-то?

— Зачем, — говорю, — отставать? Довольно смешной это разговор. Таких-то, как Матвейч, на одну руку по три штуки — и то уберу.

Матвейч, понятно, в обиде на это. Свои слова бормочет:

— Стар, да петух, а и молод, да протух.

Ну, и другое, что в покор молодым говорится:

— Сопли, дескать, подтягивать не навыкли, а тоже с нами — стариками ровняться придумали.

Слово за слово — разодрались ведь мы: Да ещё как разодрались! Вдолги уж на-мировую полштофа распили, и все дивовались, как это промеж нас такая оплошка случилась и куда та бабёнка сгнула, коя нам по стакану налила вала.

Только и другое говорили:

В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются. Иной с малых лет с карандашом. Ну, и расцветка тоже для тех, кои ножи в синь разделяют, дорогого стоит. Так вот эти рисовщики про Веселуху не то говорили, а тоже будто въявь её видели.

— Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает — вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит:

— А вот это подойдёт?

Оглянулся парень, а у него в головах, на пенёчке Веселуха сидит и подаёт ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал. Вот с той поры и повелось — как новый хороший узор появится, так Веселуху и помянут:

— Это, беспреренно, она показала. Без её рук не обошлось. Самому бы ни в жизнь такое не придумать!

Да вот ещё какая заметка была. Самые что ни на есть заводские питухи дивовались:

— Ровно мы с кумом оба на вино крепкие. Это хоть кого спроси. А тут конфуз вышел: охмелели, как несмыслёныши, еле домой доползли. Вспомнить стыд. И ведь выпили самую малость. Отчего бы такое? Не иначе — Веселуха над нами подшутила. Вишь, лукавка! Кому вон хоть по стаканчику из своих рук подносит, а нас и без этого пьяными сделала.

На деле, может, оно и проще было. После заводской-то пыли-копоти да кислых паров разморило их на травке под солнышком, а вину на Веселуху сваливают.

Заводские девчонки да бабёнки тоже по-разному Веселуху поминали. Кто слёзы лил да причитал:

— Обманула меня Веселуха! Обманула. На всю жизнь загубила.

Кто опять хвалился:

— Хоть не сладко живу, да муж по мыслям. Доброго мне парня тогда Веселуха подвела. С таким и в бедном житье не скучно.

Так вот смешица в народе и пошла. Кто ругает Веселуху: она людей пьянит да мутит, кто хвалит: самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она на самом

деле, и разговору нет. Всяк про неё размазывает, будто сам её много раз видел. Такая и сякая, молодая да весёлая. И про то помянуть не забудут, что больно цветисто ходит. А девчонки да бабёнки, кои помоложе, сами порывят поестрее снаться, коли за пруд собираются. И место это так и прозвали — Веселухин ложок.

Ну, который крепко на то место осердится, тот ругался, конечно:

— Веселухино болото! Чтоб ему провалиться!

От Мосоловых наш завод Лугинину перешёл. Этот, скажи, вовсе барского покрою был. Веселухин ложок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то своё заведение строить, да незадачливо вышло. Раз построил — сгорело, другой раз строянку развёл — опять сгорело. Третий раз самую надёжную свою стражу к строянке приставил, а до дела не довели. Построить-то, точно, построили, да только как последний гвоздь забили, ночью всё и сгорело, и барские верные псы изжарились. Какая в том причина, настояще сказать не умею, а только на Веселуху показывали. Да то ещё старики говорили. Лугинин этот был какой-то особой барской веры и от народу скрытничал. Ну, а барская вера, — это давни примечено, — завсегда девчонкам да молодухам, которые попригожее, горе-горькое. Веселухе будто это и не полюбилось, она и не допустила, чтоб новый барин в её ложке пакость разводил.

Потом, как завод на казну перешёл да придумала чья-то дурова голова немцев к нам понавести, опять с Веселухиным ложком поворот вышел.

Понаехали, значит, немцы. Зовутся мастера, а по делу одно мастерство видно — брюхо набивать да пивом наливать. Живо раздобрели на казённых харчах, от безделья да сытости стали смышлять для себя какую по мыслям потеху. Заприметили — народ летом по воскресным дням за пруд ездит. Поглядели. Место вроде поглянулось, только постройки никакой нет. Разузнали, что зовут это место

Веселухин ложок. И про то им сказали, что строенье тут заводилось три раза, да Веселуха сожгла. Немцы, понятно, спрашивают:

— Кто есть Виселук?

Им в шутку и говорят:

— Про то лучше всех знает Панкрат, Веселухин брат!

Этот Панкрат мастером при заводе был, по украшенному цеху. По рисовке из первых и на выдумку по своему делу гораздый. Не один узор да расцветка панкратовой выдумки в большом спросе ходили. А характеру самого весёлого. Наперебой его на свадьбы дружком звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому балагур да песенник и плясать без устатку мог. Недаром его Веселухиным братом прозвали.

Вот немцы и спрашивают этого мастера:

— Твой есть сестра Виселук?

Панкрат своим обычаем говорит:

— Сестра не сестра, а маленько родня, потому — обоих нас со слезливого мутит, с тоскливого — вовсе тошнит! Нам подавай песни да пляски, смех да веселье и прочее такое рукоделье.

Немцы, ясное дело, шутки не поняли, спрашивают, — какая Веселуха собой?

Панкрат тоже не стал голоса спускать, шуткой говорит:

— Бабёнка приметная: рот на растопашку, зубы наружу, язык на плече. В избу зайдёт — скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут. А коли ещё хмельного хлебнёт, тогда выше всех станет, только ногами жидка!

Немцы даже испугались:

— Какой ушасный женьщин! Такой песпорядок делайт. Турма такой. Турма!

— Найти, — отвечает Панкрат, — мудрено: зимой изпод снегу не выгребешь, летом — в траве не найдёшь.

Немцы всё-таки добиваются: скажи, в каком месте искать и чем она занимается? Панкрат и говорит:

— Живёт, сказывают, в ложке, за прудом, а под которым кустом, это каждому глядеть самому надо, да не просто так, а на весёлый глаз... В ком весёлости мало, можно из бутылки добавить:

Это немцам по нраву пришлось, заухмылялись:

— О та, из бутылка можно! Это мы умеем.

— А ремесло,— говорит Панкрат,— у Веселухи такое! С весны до осени весь народ радуется сплошь, а дальше по выбору. Только тех — у кого брюхо в подборе, дых лёгки, ноги дюжие, волос мягкий, глаз с крючочком да ухо с прихваткой.

Немцы про дых да брюхо мимо ушей пропустили, потому каждый успел брюхо нарастить и задышался, как западённая лошадь. Про мягкий волос не по губе пришлось, потому как у всех на подбор головы ржавой проволокой утыканы. Зато ногами похвалились. Хлопают себя по ляжкам, притоптывают.

— Это есть сильный нога! Как дуб. Крепко стоять могут.

Панкрат на это и говорит:

— Не те ноги дюжие, которые неуклюжие: Дюжими у нас такие зовут, что сорок вёрст пройдут, в присядку плясать пойдут да ещё мелкую дробь выколачивают.

Насчёт глаз да уха немцы заспорили:

— Такой бывать не может.

Панкрат всё-таки на своём стоит:

— Может, в вашей стороне не бывает, а у нас слушается.

Тогда немцы давай спрашивать, какой это глаз и какое ухо.

— Глаз,— отвечает,— такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропке, в снеговом охлопке. А ухо, которое держит, что ему полюбилось. Ну, там мало

ли: как рѣньжа звенит, сосна шумит, а то и травинка шуршит.

Немцы, конечно, этого ни в какую не разумеют. Спрашивают, почему на сорочий хвост глядеть, какой прибиток от палого листа, коли ты не садовник. Панкрат хотел им это втолковать, да видит — на порошинку не понимают, махнул рукой да и говорит прямо:

— Коли такое ваше разумение, никогда вам издеи Веселухи не повидать.

Немцы на это не согласны, своё твердят: все кусты, дескать, повыдергаем, все корни выворотим, а найдём. Без этого никак нельзя.

— Эта Веселуха ошень фретный жеициин. Она пожары делает.

Панкрат смекает — вовсе не туда дело пошло. От этих дубоносых всего жди. Могут и всамделе хорошее место с концом извести. Тогда он и говорит:

— Да ведь это вроде шутки. Так, разговор один про Веселуху-то.

Ну, немцы не верят:

— Какой есть разговор, коли пожары были.

— Что ж, — отвечает, — пожар всегда случиться может. Не доглядели за огнём — вот и сгорело. Последний вон раз вся барская стража пьянѣхонька была.

Немцы прицепились к этому слову.

— Ты откуда это знаешь?

Панкрат объясняет: в народе так сказывали.

Немцы своё:

— Скажи, кто говорил.

Панкрат подумал: ещё подведёшь кого ненароком, и говорит:

— Не упомяну.

Немцам это подозрительно стало. Долго они меж собой долдонили по-своему. Не то спорили, не то сговаривались. Потом и говорят:

— Скажи, мастер Панкрат, какие приметы этой женщины Веселухи.

Панкрат отвечает:

— Говорил, дескать, что это разговор один. Так сказывают, — молодая бабочка, из себя пригожая, одета цветисто, в одной руке стакан гранёного хрусталя, в другой бутылка.

Немцы вроде обрадовались, давай ещё спрашивать: какой волос у женщины, нет ли приметок каких на лице, в которой руке стакан; какая бутылка. Одним словом, всё до тонкости Панкрат рассказал, а немцы и заготовали:

— Ага! Попался! Теперь видим, знаешь Веселук. Показывай её квартир, а то плохо будет.

Панкрат, конечно, осерчал и говорит:

— Коли вы такие чурки с глазами, так не о чём мне с вами разговаривать. Делайте со мной, что придумаете, а от меня слов не ждите.

Время тогда ещё крепостное было. У немцев в заводе сила большая, потому как всё главное начальство из них же было. Вот и начали Панкрата мытарить. Чуть не каждый день спросы да расспросы да всё с пригрозью. Других людей тоже потянули. Кто-то возьми и сболтни, что про Веселуху ещё такое сказывают, будто она узоры да расцветку иным показала. И про Панкрата упомянули, — сам-де сказывал, что расцветку на ноже из Веселухина ложка принёс. Немцы давай и об этом доискиваться. По счастью ещё, что панкратова расцветка им не поглянулась. Не видно, дескать, в котором месте синый цвет кончается, в котором голубой. Ну, всё-таки, спрашивают:

— Сколько платиль Веселук за такой глюпый расцветка?

Панкрат на тех допросах отмалчивался, а тут за живое взяло:

— Эх вы, — говорит, — слепыши немецкие! Разве можно такое дело пятаком али рублём мерить? Столько и

платил, сколько маялся. Только вам того не понять, и зря я с вами разговариваю.

Сказал это и опять замолчал. Сколько немцы ни бились, не могли больше от Панкрата слова добыть. Стоит белёхонек, глаза в прищур, а сам ухмыляется и ни слова не говорит. Немцы кулаками по столу молотят, ноги оттопали, грозятся всяко, а он молчит.

Ну, всё-таки, на том, видно, решили, что Веселухи никакой нет, и той же зимой стали подвозить к ложку брёвна и другой материал. Как только обтаяло, завели постройку. Место от кустов да деревьев широко очистили, траву тоже подрезали и, чтоб она тут больше не росла, речным песком эту росчисть засыпали. Рабочих понагнали довольно и живёхонько построили большущий сарай на столбах. Пол настлали из толстенных плах, а столы, скамейки и табуретки такие понаделали, что, не пообедавши, с места не сдвинешь. На случай, видно, чтоб не заскакали, ежели Веселуха заявится.

В заводе тоже по этому делу старались: лодки готовили. Большие такие. Человек на сорок каждая.

Ну, вот. Как всё поспело, немцы всей оравой и поплыли на лодках к Веселухину ложку. Дело было в какой-то праздник, не то в троицу, не то в семик. Нашего народу по этому случаю в ложке много было. Песни, конечно, поют, пляшут. Девчонки, как им в обычай, хоровод завели. Одним словом, весна. Увидели, что немцы плывут. Сбежались на берег поглядеть, что у них будет.

Подъехали немцы, сгучились на берегу и давай истошным голосом какое-то своё слово кричать. По-нашему выходит похоже «Дритатай». Покричали-покричали этот «Дритатай» да и убрались в свой сарай. Что там делается, народу не видно, потому — сарай хоть с окошками, да они высоко. Неохота немцам своё веселье нашим показывать:

Наши всё-таки исхитрились, пристроились к этим окошечкам, сверху глядели и так сказывали. Сперва, дескать,

немцы-мужики пиво пили да трубки курили, а бабы да девки кофием наливались. Потом, как все надоволились, плясать вроде стали. Смешно против нашего-то. Известно, в немце ловкости, как в пятипудовой гире, а баба немецкая вроде перекислой квашни, вот-вот тесто поползёт. Ну, и толкутся друг против дружки парами, аж половицы говорят. Мужики стараются один другого перетопнуть, чтоб, значит, стукнуть ногой покрепче. У баб своя забота, как бы от поту хоть маленько ухраниться. Все, конечно, голоруды, голоруки, а комар тоже своё дело знает. По весенней поре набилось этого гнуса полиёхонек сарай, и давай этот комар немок донимать. Наши от гнуса куревом спасаются да на воле-то его, бывает, и ветерком относит. Ну, а тут комару раздолье вышло. Тоже и одёжа наша куда способнее. Весной, небось, никто голошеим да голоруким в лес не пойдёт, а тут на-ко приехали наполовину нагишом! Туго немцам пришлось, только они всё-таки кренятся — желают, видно, доказать, что комар им съфу. Только недаром говорится, что вешний гнус не то, что человека, животину одолеет. Невтерпёж и немцам пришлось. Кинулись к своим лодкам, а там воды полно. Стали вычерпывать, а не убывает. Что такое? Почему? Оказалось, все донья решетом сделаны. Какой-то добрый человек потрудился, — по всем лодкам напарьей дыр понавертел. Вот те и Дритатай.

Пришлось немцам кругом пруда пешком плестись. Закутались, конечно, кто чем мог, да разве от весеннего гнуса ухранишься. А на дороге-то ещё болотина приходится. Ну, молодяжник наш тоже маленько позабавился, — добавил иным немцам шишек на башках.

Долго с той поры немцы в сарае не показывались. Потом насмелились всё-таки. На этот раз на лошадях приехали, и телеги своей немецкой работы. Тяжёлые такие, в наших сраях их долгунами прозвали.

Время как раз середка лета, когда лошадиный овод

полную силу имеет. На ходу да по дорогам лошади ещё так-сяк терпят, а стоять в лесу в такую пору не могут. Самые смирёные лошадёнки, и те дичают, бьются на привязи, оглобли ломают, поводы рвут, себя калечат. Пришлось лошадей распрягать, путать да куревом спасать. Ну, немцам, которые на барском положении приехали, до этого дела нет,— понадеялись на своих кучеров, а те тоже к этому непривычны. В лес едут на целый день, а ни пут, ни богалов не захватили. Пришлось припутывать чем попало и пустить в глухую,— без звону, значит. Занялись костры разводить, а тоже сноровки к этому не имеют.

Остальные немцы опять покричали своё «Дритатай» и убралась в сарай. Там всё по порядку пошло. Напились да толкошиться стали, плясать то-есть по-своему, а до лошадей да кучеров им и дела нет.

Лошади бьются, понятно. Путы поизорвали. Иные с боков обгорели, потому как эти немецкие кучера вместо курева жаровые костры запалили. Тут ещё опять добрый человек нашёлся: по-медвежьи рывкнул. Лошади, известно, вовсе перепугались, да по лесу. Пойщи их в глухую-то, без богалов! Пришлось не то что кучерам, а и всем немцам из Дритатая по лесу бродить, да толку мало. Половину лошадей так найти и не могли. Они, оказалось, домой с перепугу убежали. А немцы,— видно, про запас от комаров,— много лишней одёжи понабрали. Им и довелось либо эту одёжу на себе ташить, либо в свои долгуши, за место лошадей, запрягаться. На своём, значит, хребте испытали, сколь эта долгуша немецкой выдумки легка на ходу. Ну, а как по лесу за лошадьми немцы бегали, наш молодяжник тоже этого случаю не пропустил. Не одному немцу по хорошему фонарю поставили: светлее, дескать, с ним будет.

Солоно немцам эта поездка досталась. Долго после неё в своем сарае не показывались. В народе даже разговор прошёл: не приедут больше. Ну, нет, не угомонились;

В осенях приплыли опять на лодках. Сперва покричали на берегу своё Дритатай, потом пошли в сарай. У лодок на этот раз своих караульных оставили. В сарае немецкое веселье по порядку пошло. Насосались пива да кофию и пошли толкошиться друг перед дружкой. Радёхоньки, что комара нет и не жарко, как летом, толкутся и толкутся, а того не замечают, что время вовсе к вечеру подошло. Наш народ, какой в тот день на ложке был, давно поразъехался, а у немцев и думки об этом нет. Только вдруг прибежали караульные, которые при лодках поставлены, кричат:

— Беда! Волки кругом!

Время, видишь, осеннее. Как раз в той поре, как волку стаями сбиваться. На человека в ту пору зверь ещё на-скакивать опасается, а к жилью по ночам близко подходит. Кому запозднится в лесу или на пруду случится, тоже не отходит. Вовсе близко сидит, глаз не спускает, подвывает да зубами ляскает: дескать, съел бы, да время не пришло.

Ну вот, выскочили немцы из сарая. Глядят — вовсе темно в лесу стало. Народу нашего по ложочку никемникого. В одном месте костерок светленько так горит. Людей не видать, а из лесу со всех сторон волчьи глаза:

Немцам, видно, не поглянулись фонари да шишки, какие им наш молодяжник добавлял в те разы. Вот немцы и оборузились, — прихватили не то для острастки, не то для бою пистолетки. Испугались волков да и давай из этих пистолетиков в лес стрелять, а это уж испытанное дело: где один волк был, там пятёрка обозначится. Набегают, что ли, на шум-от, а только это завсегда так.

Немцы, конечно, и вовсе перепугались, не знают, что делать. А тут у костерка женщина появилась. К огню-то её хорошо видно. Из себя пригожая, одета цветисто. В одной руке стакан гранёного хрусталя, в другой штоф зелёного стекла.

Стоит эта бабёнка, ухмыляется, потом кричит:

— Ну, дубоносые, подходи моего питья отведать! Погляжу, какое ваше нутро в полном хмелю бывает.

Немцы стоят, как окаменелые, а бабёнка погрозилась:

— Коли смелости нехватает ко мне подойти, волками подгоню. Свистну вот!

Немцы тут в один гблос заорали:

— То Виселук! Ой, то Виселук!

В сарай все кинулись, а там немецкие бабы-девки визгом исходят. Двери в сарай заперли крепко-накрепко да ещё столами-скамейками для верности завалили, и целую ночь слушали, как волки со всех сторон подвывали.

Наутро выбрались из сарая, побежали к лодкам, а добрый человек опять потрудился — все донья напарьей извертел, плыть никак невозможно.

Так немцы эти лодки тут и бросили и в сарай свой с той поры ездить перестали. На память об этом немецком веселье только этот сарай да лодки-дырватки и остались: Да вот ещё это слово немецкое, которое они кричали, к месту приклеилось. Нет-нет и молвят:

— Это ещё в ту пору, как немцы на Веселухином ложе свой Дритатай устроить хотели, да Веселуха не допустила.

На Панкрата немпы, сказывают, ещё заседали, будто он всё подстраивал. К главному управителю потащили, горного исправника науськивали, да не вышло.

— Комаров, — говорит, — не наряжал, с оводами дружбу не веду, волков не подговаривал. Кто немцев по кустам бил — пусть сами битые показывают. Только работа не моя. От моей-то бы тукманки навряд ли кто встал, потому — рука тяжёлая, боюсь её в дело пускать. Кто дыры в лодках вертел да медведем ревел, тоже не знаю. В те праздники на Таганаях был. Свидетелей поставить могу:

Может, и другая причинка тут подошла. К той поре, видишь, немцы себя в полную силу показали. Слепому-

расслепому начальству видно стало, что толку от них заводскому делу нет, а денег навывкли тянуть помногу. До того, сказывают, доходило, что поверишь не сразу. Русский, скажем, мастер получал десятку, а немецкому парнишку, который у этого мастера в учениках ходил, платили втрое, а то и вчетверо.

Ну, разговор и пошёл, не пора ли немцев вровне с нашими поставить,— по мастерству, значит, платить, кто чего стоит. Немцам это не любо стало, заершились: все, дескать, домой уедем. Только видят,— не сильно их уговаривают остаться, они и пообмякли, потишали.

А сарай немецкий долго ещё место поганил. Ну, потом его растащили помаленьку. Опять хороший ложок стал.

тираж 200.000.	Издательство «ПРАВДА».	Цена 1 руб.
5438.	Подписано к печати 6/II—45 г.	Заказ 391.

иллюстр. газеты «Правда» имени Сталина, Москва, ул. «Правды», 24.

9-75

EX. 50

5